



## Скажи «лук»\*

Старик мой в жизни все оборачивал шуткой. Что сказать? Любил человек народ посмешить. Я, правда, и половины его шуток не понимал, но смеялся. Зайдет, бывало, папаша в субботу к парикмахеру, сядет в самый конец очереди — а может, еще кого и пропустит — и давай юморить. Народ животики надрывал. Про стрижку вообще не думал.

Говорит:

— Если это баян, сразу скажите...

Верный себе, зашел он в кабинет к онкологу и спрашивает:

— Доктор, я после химиотерапии на скрипке смогу играть?

— Опухоль дала метастазы, — отвечает онколог. — Вам полгода осталось...

Старик — ни дать ни взять Граучо Маркс\*\* — ломит бровку, стряхивает пепел с воображаемой сигары и говорит:

— Полгода? Хочу услышать другое мнение.

---

\* © Chuck Palahniuk «Кноок-Кноок», 2015.

\*\* Один из братьев Маркс, мастеров комедии абсурда. Долгое время выступал в одном и том же образе, деталями которого были: сигара, нарисованные брови, усы и очки.

— Значит, так, — говорит онколог, — у вас рак, и шутки ваши — дурацкие.

Проходит папа курс химиотерапии, потом внутри ему радиацией выжигают все на хрен. Он мне: я, мол, теперь будто лезвиями писаю. По субботам все так же заходит в парикмахерскую и дурака валяет, хотя на фига ему стрижка? Он теперь лыс, как коллено. К тому же тощий, как скелет. Представляете? Лысый скелет таскает за собой баллон с кислородом, вроде этакой гири на ноге. Входит он, значит, такой, с баллоном на тележке и с трубками в носу, и говорит:

— Мне только макушечку подровнять.

Народ хохочет.

Поймите правильно: папка мой — не дядюшка Милти\*, не Эдгар Берген\*\*. Он, как скелет на День Всех Святых, лысый; ему жить осталось полтора месяца, и всем пофигу, что он говорит. Людям жаль его, вот и ржут, как ослы.

Впрочем, стойте, я не прав, не справедлив к папке. Он намного смешнее, просто мне слов не хватает. Чувство юмора — талант, который по наследству не передается. Когда я был еще мелким, папиным Чарли Маккарти, он, бывало, подходил ко мне и такой:

— Скажи «лук».

Я:

---

\* Американский актер и комик, выступал на радио и телевидении (с 1914 по 2000 г.) Наст. имя — Милтон Берл.

\*\* Американский актер и радиоведущий. Наиболее известен как артист-чревовещатель, выступавший с куклой по имени Чарли Маккарти.

— Лук.

Он:

— По лбу стук! — и щелкает меня по лбу.

Я, дурак, не понимал прикола. В семь лет еще учился в первом классе, Швейцарию от Швейка отличить не мог, но так хотел, чтобы папка любил меня; даже смеяться научился. Что папка ни скажет — смеюсь. Старухой он, наверное, называл нашу мать — та сбежала, бросила нас. О ней он только и говорил, мол, красотка, которая шуток не понимает. В общем, ДУРНАЯ пара.

Еще папка спрашивал:

— Знаешь, что возбуждается палочкой Коха?

Отвечать нужно было: «Туберкулез и жена Коха», но мне-то было всего семь, и я не знал, что за туберкузел и что за палочка такая у Коха. Хочешь зарезать шутку — попроси объяснить ее. И вот, когда старик говорит: «Чем отличается педагог от педофила?» — я благоразумно не спрашиваю, кто такой педофил. Только жду, чтобы заржать, когда папка скажет: «Педофил любит детишек по-настоящему!»

Когда он спрашивает:

— Маленькое, белое, кровь сосет. Что это?

Говорю:

— Что?

— Тампон! — заливаясь смехом, отвечает папка.

Думаю: хрен с тобой — и сам начинаю ржать.

Вот так растешь пень пнем и не знаешь, когда тебе хороший анекдот рассказали. Да, я не знаю, что такое танцпон. В школе меня даже в столбик делить не научили, таблицу размножения не показали... Папка не виноват.

Старик говорит, что старуха терпеть не могла эту шутку, так, может, мне передалось ее отсутствие юмора? Зато любовь... В смысле, старика-то любить надо. Вот ты родился и куда денешься? Выбора нет. Понятное дело, никому не понравится, когда твой старик дышит через шланг из баллона и умирать отправляется на больничную койку, где его накачивают морфием по самое не могу, и он даже не может попробовать красного желе на ужин.

Если это баян — сразу скажите, но у моего старика рак простраты, который даже на рак не похож. Прошло лет двадцать — если не тридцать, пока мы не узнали, что папка болен, и вот я уже пытаюсь вспомнить все, чему он меня учил. Если sprыснуть штык лопаты аэрозолем «WD-40», копать будет легче. Спускать курок надо плавно — не дергать, чтобы руку не выворачивало. Папка объяснял, как выводить пятна от крови, и рассказывал анекдоты. Много анекдотов.

Да, папка мой — не Робин Уильямс, но я как-то смотрел кино с Робинот Уильямсом, где он одевается клоуном: красный нос, радужный парик, здоровенные башмаки и гвоздика-брызгалка в петлице. Он там играет напористого врача, который так веселит больных раком детишек, что те поправляются. Серьезно! Лысые малолетние скелетики — еще страшней моего папки — **ПОПРАВЛЯЮТСЯ**. Фильм основан на реальных событиях.

Это я к чему. Все знают: смех — лучшее лекарство. Я, пока торчал в приемном покое, даже «Ридерз дайджест» начал читать. Все слышали про мужика, у которого в голове была опухоль размером

с грейпфрут. Он уже крякнуть готовился; и врачи, и священники, все эксперты говорили: ты не жилец. А он возьми и заставь себя марафоном смотреть «Три балбеса»\*. У него рак четвертой стадии, а он себя ржать заставляет — над Эбботом, Костелло, Лорелом, Харди и братьями Маркс. В конце концов исцелился. Все дело в эндорфинах и пресыщенной кислородом крови.

Я подумал: что мне терять? Надо только вспомнить любимые папкины шутки и заставить его хохотать, чтобы он сам собой к исцелению пришел. Хуже точно не будет.

Входит, значит, взрослый долботряс к отцу в палату, подвигает стул к койке и, глядя в бледное лицо умирающего, начинает:

— Заходит, короче, блондинка в бар на районе, куда раньше ни разу не заглядывала. Титьки у нее ВО-ОТ такие, жопа — маленькая, упругая. Просит бутылку «Мишлоба», а бармен — раз такой — и клофелину ей подсыпал. Блондинка пьет, вырубается, и мужики ее кладут мордой на бильярдный стол. Задирают юбку и трахают. Потом, когда время выходит, трясут ее. Она просыпается, ей говорят: вали давай, бар закрывается. И так несколько раз. Заходит телка в бар: титьки, жопа — все при ней, — и просит «Мишлоб». Бармен снова подсыпает снотворного, ее кладут на стол и имеют все подряд... Но вот как-то раз она приходит и просит «Будвайзер».

---

\* Культовый американский сериал, выходивший на телевидении в 1930–1950-х годах.

Я лично в первом классе вообще не понимал этого дебильного анекдота, зато папке моему концовка уж больно нравилась. Короче...

— ...бармен такой улыбается — само обаяние — и спрашивает: «В чем дело? «Мишлоб» разонравился?» Блондинка наклоняется к нему и шепчет: «Только между нами: у меня от него пизда болит».

Когда мне папка только рассказал эту шутку, я еще понятия не имел, что такое «пизда», что за «клофелин» и что значит «иметь». Знал я только, что старику это нравится. Ну раз смеется. Зашли мы с ним как-то в парикмахерскую, и он заставил меня рассказать этот анекдот мужикам. Я и рассказал... Парикмахеры и все стариканы, сидевшие там и читавшие детективы в журналах, заржали так, что слюна с табаком из носов брызнула.

И вот, взрослый сын рассказывает эту бородастую шутку старому умирающему отцу. Они вдвоем в больничной палате, на часах — далеко за полночь... И знаете что? Старик-то не смеется. Тогда сын вспоминает еще одну любимую папкину шутку. Муж с женой занимаются сексом. Муж: «Дорогая, кончаю!» — жена: «Только не в меня, только не в меня!» Муж такой: «А в кого тогда?!»

В семь лет я реально умел подать эту шутку, но сегодня старик над ней не смеется. Я ведь, когда смеялся над его шутками — пусть и неискренне, — говорил таким образом «люблю тебя, папа!». Сегодня хочу того же — для себя, от него. Да что ему стоит? Хотя бы разочек хихикнуть? Нет ведь, молчит. Даже не стонет. Хуже того: жмурится, сильно жмурится, а когда глаза открывает, по щекам слезы те-

кут. Старик мой хватает ртом воздух, будто дышать ему нечем, плачет — подушка вся мокрая. Сын — теперь уже не ребенок, но все еще помнящий папкины шутки — достает из кармана штанов гвоздику-брызгалку и дает струю в лицо старому плаксе.

Сынок рассказывает шутку про двух мужиков в разных концах мира. Один идет по канату над пропастью, другому старуха член сосет. У обоих одна и та же мысль в голове. Какая? Не смотреть вниз!

Прежде эта шутка гарантированно вызывала искренний смех до слез, рев и гогот. Но старик молчит, умирает себе. Плачет и плачет, даже не пробует рассмеяться. Нет бы скидку мне сделать... Как его спасти, если он сам жить не хочет? Тогда я спрашиваю:

— Сколько нужно негров, чтобы похоронить человека?

Спрашиваю:

— Ни окон, ни дверей, а внутри сидит еврей — что это?

Папке ни капли не лучше. Думаю: может, рак добрался до ушей? Или он, накачанный морфием, не слышит меня? Ну, я — чисто проверить — наклоняюсь к самому уху старого плаксы и спрашиваю:

— Две бабы у забора, одна приклеена, другая пришита. Что с ними делать?

Тут же громко — даже чересчур громко, наверное, для больницы — отвечаю:

— Одну ОТОДРАТЬ, вторую ОТПОРОТЬ!

Я в отчаянии, не знаю, как быть. Принимаюсь рассказывать шутки про гомиков, мексикосов, про азиатов и про евреев, пробую все известные медици-



не лекарства, самые эффективные... Старик ускользает. Теряю его. А ведь человек, что лежит передо мной на больничной койке, когда-то умел все обернуть шуткой. И вот он сам не смеется, мне страшно, до ужаса страшно, я кричу:

— Скажи «лук»!

Но папка в ответ не смеется. Словно у него пульс пропал.

Я кричу:

— «Лук» скажи!

Кричу:

— Сначала зеленая, а нажмешь кнопку — красная. Что это?

Папка все равно умирает, так и не ответив. Бросает меня идиотом необразованным. В отчаянии хватаю его за синюшную холодную руку, а он даже не морщится — хотя на пальце у меня кольцо-шокер. Я кричу:

— Скажи «лук»!

Кричу:

— Бежит ежик по лужайке и смеется. Почему он смеется?

Хочешь зарезать шутку — попроси старика объяснить ее. И вот он, лежа на койке, перестает дышать. Сердце не бьется. На мониторе — ровная линия.

Паренек, сидя рядом с телом отца, выбирает шутку сродни электрическим утюжкам — их еще врачи прикладывают к груди умирающего, чтобы снова завести сердце. Шутку, равную тому, что применил бы врач Робин Уильямс в комнате смеха для малолетних раковых больных. Этакий трехбал-

бесный дефибриллятор. Паренек хватает здоровенный торт с заварным кремом, покрытый толстым-толстым слоем взбитых сливок (таким и Чаплин не постеснялся бы жизнь вам спасти). Берет и, подняв как можно выше, шмякает им старика по хлебальнику. ШМЯК!

Комедийное искусство творит чудеса, и наука знает много примеров тому, однако папка мой умирает — обосравшись под конец кровью.

Нет, правда, на деле было куда как смешнее. Прошу, не надо папку винить: мой косяк, если вам не смешно. Я просто анекдоты рассказывать не умею. Сами знаете: если замять концовку, то несмешным покажется и самый ржачный из анекдотов. Вот например, пришел я как-то потом в парикмахерскую и рассказал старичью все-все, включая момент, когда я размазал торт по лицу мертвого папки и как меня потом охрана отволокла в крыло для придурков, как меня трое суток врачи проверяли. Даже это не смог рассказать правильно: старичье и парикмахеры на меня тупо вылупились. Я рассказал, как осмотрел старика, как обнюхал его: мертвого, в крови, говне и сливках; он вонял и благоухал одновременно... А эти, парикмахеры и старперы, жующие табак, тупо на меня пялятся. Никто не смеется.

Столько лет прошло, захожу в парикмахерскую, говорю: «Скажите «лук», — и парикмахеры перестают стричь, старики — жевать табак.

Я говорю:

— Лук! — Все затаили дыхание, я будто в склепе.

Говорю:

— Смерть! СМЕРТЬ пришла! Вы что, народ, Эмили... как ее там?.. Дикерсон не читали? Не слышали про Жан-Поля... как его?.. Стюарта?

Играю бровями и, стряхнув пепел с невидимой сигары, говорю:

— Скажите «лук».

Говорю:

— При чем здесь лук? Я даже на скрипке играть не умею!

Череп у меня ломится от обилия шуток, которых мне не забыть; они там, словно опухоль размером с грейпфрут. Знаю, что хоронить человека должны пять ниггеров (четверо гроб несут, один впереди с магнитофоном шествует), но голова забита хламом — типа смешной ерундой. Такое у меня образование. Впервые с тех самых пор, как я был маленьким балбесом и пересказывал папкины шутки (без понимания произнося слова типа «гомик», «ниггер», «жид»), сознаю, что я не рассказывал анекдоты посреди парикмахерской — я тогда сам был анекдотом. В смысле, я наконец-то допер! Поймите правильно: хорошая шутка, которая вызовет взрыв смеха, она как бутылка ледяного «Мишлоба»... с клофелином. Бармен подает ее тебе, улыбается, весь такой обаятельный, а ты и не подозреваешь, что тебя сейчас выебут. Ударная реплика в конце не зря называется «ударной»: это кулак, присыпанный сахарной пудрой, кастет, покрытый заварным кремом и вскрывающий тебе ебальник. БА-БАХ! этим ударом тебе словно бы сообщают: «Я умнее тебя», «Я сильнее», «Тут я рулю, пацан».

Субботним утром я ору посреди парикмахерской:

— Скажите «лук»!

Срываю глотку:

— Лук!

Пока наконец один из старых дураков тихонько так, едва слышно, отложив табак за щеку, не произносит:

— Ну... лук.

Выждав немного — старик всегда учил, как важна верная пауза, что она значит ВСЕ, — и мило так улыбаясь, само обаяние, говорю:

— По лбу стук...

## Элеанор\*

Рэнди не обидит деревья. Не обидит люто, и когда находит в Интернете освещение: дождевые леса Амазонки вырулят, — он решает: как хорошо! как атласно!

Не обидит он больше всех сосны. Рэнди видит, как они движутся: то медленно, то быстро. Сперва поучительно медленно — прямо забываешь, что движутся. Но они движутся: поднимают многотонные ноги выше и выше, а потом как вниз! — прямо голову. После — быстро. Сосна движется быстро, очень быстро, слишком быстро — аж незаметно.

Папа Рэнди их приближения срочно не видел. Если обдумать, папа Рэнди — работавший на зеленом конь-веере — и так жил взаимно. Один шаг, быстрый, и гора сырой древесины — ба-бах! — ему на волосатый кумпол. Разнесла черепушку на миллиард дырявых соколков.

Рэнди решает: есть доля лучше. Зачем тут ворчать? Поджидаться, когда на тебя жахнет сотня тонн целлулоидного волокна. Рэнди не обидит Орегон.

---

\* © Chuck Palahnuik «Eleanor», 2015.

Рэнди бежит в другое место. Хочет дом: чтоб до- зовая штукатурка и без деревьев. Деньги за прилич- ное страхование по карманам, питбуля — в машину. Погнали на юг. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Как будто стая волкодавов мчится по следу, хочет влить- ся в зад Рэнди.

Наконец Калифорния. Реалтор пучит глаз на тачку Рэнди: «Тойота Селика»; хром и тюнинг, все дела — за ту же цену, что и тачка. Еще питбуль в са- лоне. У нее штандарт, конфессия требует. Реалтор впивается видом бритого черепа, свежей табу на лице (еще кровь ключица). Реалтор открывает ноут, кажет спираченные файлы.

Говорит:

— Чувак.

Она говорит:

— Ты с этим домом разоришься на фиг.

Реалтор будет Газель.

На экране кинцо, от него у Рэнди откисла че- люсть. Кинцо откровенное; копия с копии с копии с копии с копии того, за что ни в тыщу жизней бабла не отвалишь.

Реалтор говорит:

— Чувак.

Говорит:

— Чувак, фильм называется «Беги и прячься, белая крошка — 4».

В плавной боли Дженнифер-Джейсон Мор- релл. Соблазняет блондина-воришку, подбивает его залезть в шикарный дом. В доме пристроились отдыхать чувачки. Чувачки обвалились на кровати, дрыхнут после гулянки, всю дочь запивались доро-